

Р. М. ЛАЗАРЧУК (Череповец)
«ДНЕВНИК ОДНОЙ НЕДЕЛИ» А. Н. РАДИЩЕВА
(К проблеме датировки)

Датировка «Дневника одной недели» — одна из спорных проблем современного радищеведения, и проблема далеко не частная. От того, какое место займет это произведение в художественной системе писателя — у истоков творчества или в финале его трагического пути, — зависит решение общих проблем эволюции метода и стиля Радищева.

Концепция Г. П. Макогоненко, датирующего «Дневник» 1773 г. и связывающего его с эстетикой сентиментализма и полемикой с «Эмилем» Руссо¹, уже неоднократно оспаривалась нашей наукой. Оппоненты исследователя² при всем различии предлагаемых ими датировок и выдвигаемой системы доказательств — едины в своем стремлении противопоставить факту (а именно на совпадении событийной стороны жизни автора и героя основывается аргументация Г. П. Макогоненко) внутренний автобиографизм. В поисках этого глубокого психологического родства целесообразно вновь обратиться к письмам Радищева³.

Внутренняя жизнь Радищева, так как она отразилась в его письмах к А. Р. Воронцову 1790-х гг., оказывается мучительно сосредоточенной на одной мысли: он не прощен теми, «перед кем (...) наиболее преступил» (З, 343)⁴, забыт и оди-

¹ Макогоненко Г. П. Радищев и его время. М., 1956, с. 149—164.

² П. Н. Берков датирует «Дневник» началом 1790-х гг. (Берков П. Н. «Гражданин будущих времен». — «Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка», т. VIII, вып. 5, 1949, с. 401—416); Л. И. Кулакова — 1790—1791 гг. (Кулакова Л. И. О датировке «Дневника одной недели». — В сб.: Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950, с. 148—157). К 1801—1802 гг. относят издание «Дневника» В. П. Гурьянов (см.: Гурьянов В. П. Еще раз о дате «Дневника одной недели» Радищева. — «Вестник Московского гос. ун-та. Серия VII». 1960, № 1, с. 57—60) и Г. Я. Галаган (см.: Галаган Г. Я. Герой и сюжет «Дневника одной недели Радищева. Вопрос о датировке». — В кн. «XVIII век». Сб. 12. А. Н. Радищев и литература его времени. Л., 1977, с. 67—71).

³ На связь «Дневника» с завещанием Радищева и его письмами к А. Р. Воронцову начала 1790-х гг. впервые указано Л. И. Кулаковой.

⁴ Цитаты из произведений Радищева даются по изданию: Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1—3. М.—Л., 1938—1952.

нок: «Сегодня исполнился месяц, как мы (...) не получали никаких известий из России; если я добавлю еще недели две до нашего отъезда (...) получится около семи недель... Ни одного письма от вашего сиятельства, ни одного от детей, ни одного от отца (...) Неужели мы совершенно забыты?» (3, 412—413) — 20 января 1792 г.; «Более трех с половиной месяцев протомился я, не получая ниоткуда никаких известий (...) Неужели вы забыли меня?» (3, 461—462) — июнь 1794 г.; «Не получая более пяти месяцев ниоткуда известий и потеряв, так сказать, надежду...» (3, 477) — 3 июня 1795 г.

Борьба веры и сомнения — узел, связывающий отдельные письма в целое, единый текст — «дневник одной ссылки». Столкновение тех же начал определяет художественную структуру «Дневника одной недели».

В письмах Радищева эта ситуация изображена предельно кратко. Состояние только названо, обозначено, но не показано как процесс. Рубленая утвердительная фраза обрывает поток сомнений, о мучительности которых не сказано ни слова. Читатель догадывается об этом сам, догадывается по растерянным многоточиям, по какой-то излишней категоричности и поспешности: «Неужели вы переменились ко мне? Нет, сердце отвергает эту мысль. Она для меня невыносима» (3, 489). Иногда суровая внутренняя «цензура» преодолевается: о «душевном состоянии» говорится подробнее, но в тех же традиционных очертаниях — скупое и прямолинейное: «Надежда, вечная утешительница всякого человека (...) все еще манит меня своими обманными мечтами (...) Как человек, лишенный рассудка, я бегу вослед моей неотступной мысли, я насыщаюсь ею, она меня опьяняет, и, подобно одурманенному опиумом, я познаю восторги блаженства, порожденного призраками моего воображения; а, очнувшись, я также чувствую себя истомленным этим бредом, ввергнутым в еще худшее состояние...» (3, 486). Расставлены вехи, обозначены основные этапы процесса: опьянение — дурман мечты — «восторги блаженства» — страшное пробуждение — и «еще худшее состояние», но это еще не сам процесс.

Психологические паузы, которыми пестрят признания Радищева в письмах («Неужели мы совершенно забыты? Нет, я не могу убедить себя в этом. Нет, это просто отдаленность мест, людей... и почему я знаю, что еще?» (3, 413), паузы, означающие непрерывную внутреннюю борьбу, оказываются заполненными в «Дневнике одной недели». Переживание, о котором раньше не говорилось ни слова, переживание пропущенное, но потенциально присутствующее, теперь «гипертрофируется (...) как бы рассматривается в микроскоп и пред-

стает в невероятно увеличенных размерах...»⁵ В письмах чувство изображено кратко, прямолинейно, предельно «названно»; в «Дневнике» оно сложно, противоречиво, неуловимо, зыбко, неясно. В письмах даны лишь результаты процесса: «Неужели вы забыли меня? Нет, я не могу поверить — сердце мое отвергает мысль, которую оно сочло бы для себя преступлением» (3, 462). В «Дневнике» — сам процесс, т. е. «хаотичность», противоречивость мгновенно сменяемых впечатлений, настроений, мыслей»⁶, «уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую»⁷, «текучесть»: «они (друзья. — *Р. Л.*) еще не едут, может быть, какое препятствие, — подождем. Никто не едет. — Чьим верить словам возможно, когда возлюбленные мои мне данного слова не сдержали? Кому верить на свете (...) оставлен. Кем? (...) друзьями души моей! Жестокие, ужели толико лет сряду приветствие ваше, ласка, дружба, любовь были обман? — Что изрек? Несчастный!» (1, 143—144). В письмах свободная стихия эмпирических переживаний; в «Дневнике» — «расщепленное сознание (человека), в котором степень веры и сомнения постоянно колеблется»⁸, но сами начала выступают как сосуществующие с первого дня разлуки, становится объектом художественного исследования.

Диалектика момента в «Дневнике одной недели» как итог русской психологической прозы XVIII в. и предвосхищение толстовского метода «диалектики души»⁹ немыслима вне личного опыта Радищева: в крепости и ссылке было слишком много времени для «самоуглубления и неутомимого наблюдения над самим собою»¹⁰. «Дневник одной недели» не мог возникнуть ранее июля—сентября 1790 г. Об этом свидетельствуют письма Радищева к А. Р. Воронцову, связанные с «Дневником» множеством нитей, тянущих за собой целый комплекс ассоциаций (общность ситуации и бесчисленные реминисценции настроений, мыслей, поэтических образов и словесных формул).

Однако диалектика момента в «Дневнике одной недели» немыслима и вне художественного опыта писателя, вот почему вопрос о датировке текста неизбежно должен быть переключен в иной план: «Дневник» не мог быть написан в 1773 г. — это противоречит логике художественных исканий Радищева. Сложность подобной постановки проблемы заклю-

⁵ Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939, с. 460.

⁶ Там же.

⁷ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, с. 425.

⁸ Галаган Г. Я. Герой и сюжет «Дневника одной недели» Радищева. Вопрос о датировке, с. 67.

⁹ Там же, с. 69.

¹⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 426.

чается в том, что «Дневник одной недели» практически никогда не рассматривался в контексте всего творчества писателя. Напротив, исследователи отрывают «Дневник» от прозы Радищева, констатируя лишь несовпадения с нею. Реальные, ощутимые связи разрушаются. «Дневник одной недели» неизбежно оказывается вне созданной писателем художественной системы. А между тем этот контекст существует, и прямое указание на него содержится в самом «Дневнике»: «...не ты ли хотел приучать себя заблаговременно к кончине? Не ты ли сие мгновение хотел ознакомиться?» (1, 142). Выполняющее роль своеобразной отсылки к философскому трактату «О человеке, о его смертности и бессмертии», это суждение вызывает ассоциации с уже знакомым: «Нечаянное мое преселение в страну отдаленную, разлучив меня с вами, возлюбленные мои, отъемя почти надежду видеться когда-либо с вами, побудило меня обратить мысль мою (...) на то состояние, в котором человек находиться будет или может находиться по смерти» (2, 39). Попробуем прочитать «Дневник одной недели» именно в таком контексте.

Исследователи уже неоднократно обращали внимание на горечь и сомнение, отравляющие дружбу, на страшное и, на первый взгляд, непонятное страдание, с которым переживается неделя, точнее, одиннадцать дней разлуки, повергающие героя в безумие, мучительные галлюцинации, мысли о смерти и самоубийстве. Отъезд из Петербурга А. Кутузова и А. Рубановского — друзей юности Радищева, — послуживший, по мнению Г. П. Макогоненко, «поводом» к созданию этого автобиографического произведения¹¹, не может объяснить психологического состояния героя. Его прояснит все тот же трактат: «Или не ведаешь, что может отчаяние человека, лишенного семейства, друзей и всякия утехи?» (2, 96). «Дневник написан «человеком», уже однажды познавшим и перестрадавшим разлуку с близкими. Можно (и почти с абсолютной уверенностью) уловить самый момент возникновения этого сюжетного узла — июль—сентябрь 1790 г. Образ «разлуки-смерти» впервые появится только в письме к А. Р. Воронцову от 20 сентября 1790 г. Следовательно, подобная интерпретация темы вообще чужда писателю до тех пор, пока разлука не станет реальностью, т. е. фактом его собственного бытия.

Глава «Выезд» «Путешествия из Петербурга в Москву» кажется своеобразной программой «Дневника». Отъезд, разлука с друзьями — возвращение (пусть же реальное, пусть только воображаемое: но ведь именно мысль о возвращении успокаивает путешественника). За ними угадываются «начало» и «конец» «Дневника», своего рода «рама», для кото-

¹¹ См. : Макогоненко Г. П. Радищев и его время, с.155—159.

рой еще нет картины: содержанием «Дневника» станет ожидание встречи, состояние, пока не занимающее писателя.

Ситуация разлуки, совершенно реальная для главы «Выезд», в то же время дается как заведомо умозрительная, далекая от «внутреннего я» путешественника. Это подчеркивается не только системой оппозиций: «некто-я», «ты-я», «он-я», — но и некоей графической обособленностью данного фрагмента текста¹². В «Крестьцах», когда «расставание у отца с детьми» становится темой почти своей, хотя и по-прежнему предположительной («...я сам отец и скоро, может быть, с детьми расставаться буду» (1, 282), психологическое напряжение растет. Состояние Крестицкого дворянина сложнее («смушен, но тверд» — 1, 296) и драматичнее, но столь же определено и естественно — ни малейшего намека на отчаяние и болезненность страдания.

Близкая к «Дневнику» коллизия — трагедия одинокой личности, уже готовая возникнуть в главе «Выезд», возникнуть почти в тех же словесных формулах, в том же интонационно-стилистическом ключе¹³, — не получает развития. Путешественник может ощутить себя одиноким только на минуту, и только во сне. Действительность сильнее галлюцинаций, которые она отбрасывает мгновенно и безболезненно, не оставляя в душе героя ни боли, ни воспоминаний: «По счастью моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила (...) Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости: «Барин-батюшка на водку!» (1, 228). В «Дневнике одной недели» действительность уже утрачивает это врачующее свойство, и человеческое сознание теряет самую способность переключаться¹⁴. Иллюзий — и тех не оставлено герою «Дневника». Жить для него — значит сомневаться, сомневаться и верить, верить и сомневаться. Однако напряженное столкновение этих двух начал

¹² «...в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно, хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно: но блажен тот, кто расстаться может не улыбаясь; любовь или дружба стругут его утешение. Ты плачешь, прозяноса прости; но *воспомни о возвращении твоём*, и да исчезнут слезы твои при сем воображении (...) блажен живущий иногда в будущем (...) Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам...» (1, 228). (Курсив мой. — Р. Л.)

¹³ Ср.: «Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелени (...). Един, оставлен, среди природы *пустынник!*» (1, 228) и «... — о смерть! приди, возжеленная, — как можно человеку быть одному, быть *пустыннику* в природе» (1, 144). — (Курсив автора. — Р. Л.)

¹⁴ «Я еду со двора, еду в дом, где обыкновенно бываю с друзьями моими. — Но тут я один. Грусть моя, преследуя меня безотлучно, отнимала у меня даже нужное приветствие благопристойности, делала меня почти глухим и немым» (1, 139).

не есть лишь следствие несогласия с самим собой. И полемика, свидетелем которой становится читатель, не есть спор только внутренний, и только частный. В «Дневнике» разрушаются именно те истины, которые казались абсолютными и неизблемыми герою «Путешествия»: «Но где искать мне утolenия хотя мгновенного моей скорби? Где? Рассудок вешает: в тебе самом. Нет, нет, тут-то я и нахожу пагубу, тут скорбь, тут ад...» (1, 140)¹⁵.

Определяя «Дневник одной недели» как «исповедь духовно потрясенной личности»¹⁶, Г. П. Макогоненко усматривает его связь с эстетикой сентиментализма прежде всего в своеобразной камерности текста, равнодушии и даже глухоте к социальной проблематике. Однако рядом с трактатом — в его контексте — эта болезненная абсолютизация жизни сердца приобретает совершенно иной смысл и совершенно иную мотивировку. Самая возможность подобного «обвинения» предвидится здесь: «...но что человек забывать может свою телесность и жить почти в своей душе или мысленности, тому не все верят...» (2, 122). В «Дневнике» изображена отнюдь не вся человеческая жизнь, а лишь один из ее моментов, одиннадцать дней, резко нарушивших привычное течение времени. Об этом свидетельствует запись первого дня, приоткрывающего ту норму бытия, малейшие отклонения от которой фиксируются сознанием героя: «По обыкновению моему, пошел я к отправлению моей должности. В суете и заботе, не помышляя о себе самом, я пребыл в забвении, и отсутствие друзей моих мне было нечувствительно» (1, 139). Сохранившаяся в своем недавнем прошлом потребность жить интересами других мешает герою остаться наедине со своим горем. И в момент полнейшей «бесчувственности» мысли о чужих — о согражданах своих — лихорадочно роются в его душе, рождая страшные упреки: «...должность требует моего выезда, — невозможно, но от оногo зависит (...) благосостояние или вред твоих сограждан, — напрасно» (1, 141). Нет, болезненная погруженность в самого себя вовсе не норма бытия радищевского героя, а временное и катастрофическое состояние, в которое повергла его разлука с друзьями. Отгородившаяся от мира, замкнувшаяся в себе, утратившая цельность, человеческая личность занялась «раскапыванием» своего сердца. Но именно эта — вынужденная и временная — отрешенность от внешнего бытия станет главным условием обретения новых путей психологического анализа и рождения новой поэтики. В понимании психологии человека, своеобразно

¹⁵ Ср. в «Бронницах»: «Чего ищещи чадо безрассудное? Премудрость моя все нужное насадила в разуме твоём и сердце. Вопросы их во дни печали, и обрящешь утешителей» (1, 268).

¹⁶ Макогоненко Г. П. Радищев и его время, с. 159.

зии принципов ее раскрытия и состоит одно из резких несовпадений «Дневника» с прозой Радищева.

В «Житии Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествии» способ изображения душевного состояния еще во многом определяется классицистическим представлением о человеческой психике как «математической сумме несмешиваемых «способностей» или чувств, каждое из которых может быть рассмотрено в чистом виде»¹⁷. Отсюда тенденция к рационалистической упорядоченности анализа¹⁸, к расщеплению чувства, точного в своей определенности и неподвижности, чувства, обнаруживающего себя в традиционности мимики и жеста. На рубеже 1790-х гг. «человеческое сердце» остается для Радищева «вещью в себе», непознанной и недостойной описания: «Что в душе моей происходило, слыша сие, удобнее чувствовать, если кто может, нежели описать. Но дабы не занимать вас излишним, может быть, повествованием...» (1, 366). Недоступное человеческому ведению, оно неизбежно соприкасается с тайной, разгадка которой уводит читателя за пределы текста¹⁹. По-видимому, в 1790 г. проблема самоанализа еще существует для Радищева где-то на периферии художественного сознания. Чтобы она переместилась в центр, мало только личного опыта, только потребности в исповеди, только желанья быть услышанным и понятым. Осознание «текучести» переживаний, осмысление психологии человека как процесса («На одном часе сто родится предприятий в голове, сто желаний в сердце, и все исчезают мгновенно» (1, 140) неизбежно связано с преодолением метафизичности подхода к изображению чувства, признанием диалектики как основы бытия. Этот решительный перелом произойдет в мирозерцании художника позже, когда поиски ответа на вопрос: смертен человек или бессмертен — поставят его перед необходимостью не только дать философское обоснование проблемы, но и привести свои воззрения в систему, первоэлементом которой станет движение: «Катится время непрерывно (...) и все переменяющееся является нам в новый образ облеченно» (2, 99).

В «Путешествии из Петербурга в Москву» событие, т. е. все, что происходит с героем и «окрест» него, постоянно соотносится с планом всеобщим, историческим; время сюжетное включается в историческое время (прошлое и будущее), изме-

¹⁷ Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века, с. 122.

¹⁸ «Презрение к начальнику нашему было первое душ наших движение: но скоро к тому присовокупилось и негодование» (1, 169).

¹⁹ «Вспомяни сию картину (кончину Федора Ушакова. — Р. Л.) и скажи, что делалось тогда в душе твоей» (1, 155) или: «Вняв лестному гласу дружбы Федор Васильевич отверз ему свое сердце» (1, 176).

ряемое веками и тысячелетиями. Но мгновение, с которым связано разрешение противоречий²⁰, еще может быть выхвачено из связи времен и остановлено. В «Дневнике одной недели» время героя сузилось до мгновения. Его прошлое — годы («...ужели толико лет сряду приветствие ваше, ласка, дружба, любовь были обман?» (1, 143—144), воспоминание о которых «мгновенно» (1, 140). Его будущее — блаженство, ожидание которого превращает дни в годы («— завтра! год целый», — 1, 143), а мгновения — в часы. В философском сочинении «О человеке, о его смертности и бессмертии» бытие вневременное, расколовшееся на мгновения: «время течет (...) в порядке непрерывном. Нет ни единого в нем мгновения, которое бы возможно было себе представить отделенно, и нет двух мгновений, коих бы предела ознаменовать возможно было. Не в след текут они одно другому, но одно из другого рождается» (2, 99). Вечность и одиннадцать дней, распавшиеся на часы и мгновения, показавшиеся вечностью... Они уравниены в сознании человека, привыкшего измерять «течение времени в соответствии с (...) чувствами, а не с разностью дат» (3, 433). Самый образ «мгновения» в «Дневнике одной недели» перестанет быть только обозначением временной протяженности, но окрасит состояние, сообщив ему трагичность и «конечность», неизбежную и неумолимую: «мгновенное (...) воспоминание», «мгновенное хотя спокойствие», «мгновенное утоление скорби».

«Дневник одной недели» не мог появиться ранее 1792 г. 1792—1802 гг. — вот те хронологические рамки, достаточно неопределенные, но безусловные, в пределах которых создается текст.

Однако «Дневник одной недели» вовсе не иллюстрация трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии», а трактат не только философское обоснование «Дневника». Отношения двух текстов гораздо сложнее, и исследование связей между ними прояснит вопрос о так называемом «первичном» тексте.

Шесть раз в пределах строго локализованного сюжетного времени «Дневника одной недели» возникает мотив сна. Радость немислимого наяву, в действительности, свидания с «друзьями души», «возлюбленными», и мгновенное облегчение скорби — этот глубоко личный и конкретный смысл приобретает в философском сочинении «О человеке, о его смертности и бессмертии» высказанная ранее мысль о сне — «отраде» несчастного (1, 230)²¹: «О, сон! прости мрачный

²⁰ «...тогда тяжелая власть,
Развеется в одно мгновенье.

О день избраннейший всех дней» (1, 362).

²¹ См. «Путешествие»: «Уснул — и все скончалось» (1, 230).

покров твой на томящееся сердце! Да возникнут образы возлюбленных моих предо мною! Да лобжу их и блаженствую!» (2, 116)²². «Успокоитель сокрушений человеческих» (1, 142) — такова основная, но не единственная функция снов в структуре «Дневника». Проникая в область подсознательного, искусство обнажает и укрупняет то смутное, но реально существующее сомнение в искренности друзей, которое уже закралось в душу героя, но которое он еще не решается высказать вслух: «я вас вижу, — вы все со мною, сомневаться мне в том не должно, прижмите меня к своему сердцу, почувствуйте, как мое бьется, — но что! вы меня отталкиваете! вы удаляетесь, отворачивая взоры ваши! о пагуба, о гибель! (...) Куда идете, куда спешите? или не узнаете меня, меня, друга вашего? друга... Пойдите ... мучители удалились, — пробудился» (1, 142—143). Именно во сне друзья предают героя, именно утром следующего дня внезапно вырвется самое слово «сомнение» («...а если не возвратятся», — 1, 143). Логика подобного разоблачения героя и связана с трактатом, где описана природа сновидений²³, и противоречит ему. Уточняя и обогащая данные, добытые опытом, художественное познание вносит существенные поправки в самое понимание механики возникновения сна. В «Дневнике одной недели» устанавливается прямая и непосредственная зависимость сновидения от «понятия» человека²⁴, чьи бесконтрольные во сне эмоции «производят» «образы, коих единая возможность для бдящего есть неистощимая загадка» (2, 116). «Дневник» рождается в споре с трактатом, точнее, в споре с самим собой. Сущность и важность подобной полемики в том, что она снимает абсолютность и (при кажущейся диалектичности) однозначность истин, утверждаемых трактатом. Остановимся только на одном моменте проявления этого внутреннего несогласия, связанного с осмыслением темы смерти. Смерть — «конец скорби и терзанию» (2, 101); ее ожидание спокойно и радостно, потому что за ней — «жизнь новая» (2, 101) и «надежда», бессмертие и встреча после разлуки, длиною в вечность. Ситуация, уже как будто исчерпавшая себя, дает в новом контексте совершенно незапрограммированный ход: «...поучимся заранее взирать на скончание дней наших равнодушно (...) приучим заранее зрение наше к тленности и разрушению, возрим на смерть, — не-

²² «...едва сон сомкнул мои очи, — друзья мои представились моим взорам, и, хотя спящ, я счастлив был во всю ночь: ибо беседовал с вами» (1, 139).

²³ «...что во бдении она (мысленность. — Р. Л.) едва ли подозревать быти возможет, во сновидении воззывает в действительность» (2, 116).

²⁴ Ср. в трактате: «Сновидения твои столь же мало от тебя зависят, как и от твоего понятия» (2, 94).

чаянный хлад объемлет мои члены, взоры тупеют²⁵. — Се конец страданию, — готов... мне умирать? — Да не ты ли хотел приучать себя заблаговременно к кончине? Не ты ли сие мгновение хотел ознакомиться?.. мне умирать? Мне, когда тысячи побуждений существуют, чтобы желать жизни!..» (1, 142). Противоречие тем более разительное, что сами описания предельно сближены текстуально, построены на реминисценциях. Сколь неожиданное решение продиктовано открывшейся внезапно, вдруг бесконечной загадочностью человеческого сознания, непознанного и непознаваемого. «Я убоялся сам себя» (1, 140) — за этой, так значимой для «Дневника» формулой — смятение и прозрение, разом опрокинувшие теоретические выкладки, на создание которых понадобилось много лет: «Колико человек властен над своими мыслями, толико же он властен и над своими желаниями и страстями» (2, 119)²⁶. «Дневник одной недели» живет и звучит в споре, в споре с трактатом, в споре с самим собой. Чтобы такой диалог возник, нужна была некая временная дистанция, не снявшая остроту боли, но освободившая мысль от сковывающей ее течение альтернативы, от давления «идеи», в жертву которой приносятся доводы рассудка: «В восторге алчные души вас видеть, едва не впал в погрешность, и заключение извлек, не дав ничего в доказательство» (2, 69). Подобные сопоставления (круг их может быть значительно расширен) исключают самую возможность одновременной работы над двумя текстами и позволяют установить наиболее вероятные границы появления «Дневника». «Дневник одной недели» написан после философского сочинения «О человеке, о его смертности и бессмертии»²⁷. Знание трактата, не желательное, не предположительное, но обязательное, входит в художественное задание Радищева. Бесконечно раздвигая границы «Дневника», трактат «просвечивает» его содержание, обнажая и расшифровывая «темные» места, в разгадке которых бессильны помочь обычные биографические реалии. Самая «краткость» «Дневника» есть неизбежное следствие существования трактата, кажущегося обширным «комментарием»²⁸, находящимся за *«текстом»*, но необходимым для его прочтения.

²⁵ Ср. бесстрастно-трезвые, почти клинические изображения смерти в трактате (2, 47; 97—98; 120—121; 123 и др.).

²⁶ Ср. в «Дневнике»: «Ужели человек толико раб своей чувствительности, что и разум его едва сверкает, когда она сильно встревожится» (1, 140).

²⁷ Оно начато в Илимске 15 января 1792 г. Время завершения работы неизвестно. Г. А. Гуковский датирует трактат 1792—1796 гг. См. примечания (2, 370—371).

²⁸ Сказанное вовсе не отменяет художественной природы этого сочинения Радищева, исследование которой — одна из важнейших задач науки.